

Глава 1. Холмы, долины и государства. Введение в историю Зомии

Я начну свою книгу с трех весьма показательных описаний, полных горького разочарования. Первые два принадлежат управленцам — претендентам на звание покорителей неприступных земель и их мятежных обитателей. Третье сделано на ином континенте человеком, возомнившим себя покорителем душ и впавшим в отчаяние от атеизма и ересей, порождаемых будто бы самим местным пейзажем.

“ Составлять карты всегда сложно, но карту провинции Гуйчжоу — особенно... У районов на юге Гуйчжоу рваные и запутанные границы... Административные области разбиты на множество подчиненных земель, зачастую разделенных другими территориями... Есть даже районы, никому не подчиняющиеся, где проживает народность мяо, смешавшаяся с китайцами...

На юге Гуйчжоу много высокогорий. Они перетекают друг в друга без каких-либо равнин и дорог между ними, без рек или водных русел, прорисовывающих их границы. Они раздражающе многочисленны и непокорны... Людей здесь живет немного, и в основном высокогорные пики не имеют названий. Их скопления трудно различить — горные хребты и вершины выглядят одинаково. Тот, кто привык описывать горы, перечисляя только основные вершины и хребты, тут вынужден говорить подробно и обстоятельно. Иногда, чтобы описать несколько километров горного массива, нужно подготовить целую кипу документов, где рассказ всего лишь о дневном переходе займет несколько глав.

Будто чтобы окончательно запутать ситуацию, на протяжении пятидесяти километров своего русла река здесь может иметь пятьдесят разных наименований на местных диалектах, а лагерная стоянка на полутора километрах — не менее трех обозначений. Вот насколько ненадежна номенклатура географических названий[2].

“ Холмистые, заросшие джунглями пространства — именно здесь дкойтам удавалось продержаться дольше всего. Таковы территории между Минбу,

Таемью [и поясом болотистых низин] у подножия гор Шан, Аракан и Чин. Преследовать их было невозможно: дороги узки, извилисты и будто созданы для нападений из засад. За исключением нескольких дорог, остальная территория практически непроходима; тропическая лихорадка косила наши отряды; только один смог войти в джунгли и немного продвинуться. Все поселения крошечные и встречаются крайне редко; они очень компактны и окружены густыми, непроходимыми джунглями. Дороги могут пропустить лишь одну повозку или еще более узки; в местах пересечения джунглей они полностью заросли кустами и колючими ползучими растениями. Много сухой травы сжигается в марте, но как только возобновляется сезон дождей, все вокруг опять становится прежним — непроходимым[3].

“ Поверхность земли настолько избородана многочисленными пересекающимися речными потоками, что топографическая карта типичного графства площадью в 373 квадратные мили насчитывает 339 речушек, то есть по девять на каждые десять квадратных миль. Большинство долин имеет V-образную форму, и редко где по берегам рек земли достаточно, чтобы проехал экипаж или был разбит сад... Изоляция, и так обусловленная сложностью и медленностью способов передвижения, усугубляется целым рядом обстоятельств. Прежде всего, все пути обходные. Ехать приходится по одному рукаву реки, а возвращаться — по другому, или же вверх — по одному притоку до развилки рек, а обратно — по другому, по дальней стороне горной цепи. Вот почему если женщина выходит замуж за десять миль от родной деревни, проходит много лет, прежде чем она навестит своих родителей[4].

За каждым из этих высказываний стоит некий управленческий проект — Цинской и Британской империй или протестантской церкви на Аппалачах. Каждый из них задумывался людьми, свято верившими, что они несут на эти земли порядок, прогресс, просвещение и цивилизацию, убежденными, что прежде никем не управляемые территории нуждаются в административном контроле, гарантируемом государством или церковью, и оценят его преимущества.

Но в чем же тогда причина конфликтного характера взаимоотношений подобных проектов и их агентов, с одной стороны, и относительно автономных зон и их жителей — с другой? Характера, который ярко проявился в Юго-Восточной Азии, где сильнейший социальный раскол — противостояние жителей гор и равнин, поселений в верховьях (hulu в Индонезии) и низовьях (hilir) рек — определяет большую часть истории региона[5]. Внимательное изучение причин противостояния позволит иначе взглянуть на ход и логику глобального исторического процесса формирования государств на равнинах и постепенного заселения горных массивов.

Конечно, столкновение государственной экспансии и самоуправляемых сообществ — не уникальная характеристика Юго-Восточной Азии. Его отголоски в виде культурного и административного «внутреннего колониализма» прослеживаются в становлении

большинства современных западных национальных государств; в проектах Римской, Османской, Британской империй, Габсбургской и Ханьской династий; в покорении аборигенного населения в колониях «белых поселенцев» на территории современных Соединенных Штатов, Канады, Южной Африки, Австралии и Алжира; в противостоянии оседлого, городского арабского населения и кочевых скотоводческих племен, которое определило историю Ближнего Востока[6]. Конкретные формы конфликта в каждом случае уникальны, но сами столкновения самоуправляемых и государственных людей повсеместны, как бы они ни назывались — борьба «дикарей» и «цивилизации», «горных/лесных» и «равнинных/пастбищных» народов, «жителей низовий» и «верховий» рек, «варваров» и «цивилизации», «отсталых» и «современных», «свободных» и «зависимых», людей «с историей» и людей без корней, — что позволяет использовать принцип триангуляции в сравнительном анализе. Везде, где получится, я не премину воспользоваться этой возможностью.

Мир периферий

Честно говоря, на всем протяжении истории, начиная с зерновых, аграрных цивилизаций, интересующее меня противостояние, судя по письменной традиции, мало заботило ученых. Но если мы немного отклонимся от общепринятых моделей и используем более оптически сильные исторические линзы, сфокусированные на понятии человечества, а не на паре «государство — цивилизация», то удивимся, насколько оно повсеместно и как стремительно развивалось. *Homo sapiens* появился примерно двести тысяч лет назад и около шестидесяти тысяч лет назад заселил Юго-Восточную Азию, где первые поселения возникли только в I тысячелетии до н. э. как небольшое пятнышко на историческом ландшафте — локальное, почти незаметное и мимолетное. Незадолго до нашей эры, которая охватывает не более одного процента человеческой истории, здешний социальный пейзаж состоял из очень небольших, автономных родов, которые изредка объединялись для совместной охоты, ритуальных праздников, сражений, торговли и мирных переговоров. Ничего похожего на государство здесь не существовало[7], и жизнь без него считалась нормальным состоянием человека.

Вероятно, возникновение аграрных царств стало тем самым событием, которое обозначило диалектическое противоречие между оседлым населением государств и группами, живущими в пограничном состоянии — имеющими некоторые формы социального управления, но фактически независимыми. По крайней мере до начала XIX века отсутствие транспортных путей, состояние государственных военных технологий и, в первую очередь, демографические тенденции жестко ограничивали захватнические претензии даже самых амбициозных государств. При плотности населения в 5,5 человека на квадратный километр в 1600 году (по сравнению с 35 в Индии и Китае) правители Юго-Восточной Азии просто не могли контролировать свои огромные приграничные территории[8], которые выполняли функцию примитивного, но эффективного инструмента саморегуляции: чем больше было давление государства на граждан, тем меньше их у него оставалось. Эту диалектическую гарантию народной свободы хорошо охарактеризовал О'Коннор: «С возникновением государств вновь изменились условия адаптации — по крайней мере для земледельцев:

территориальная мобильность позволяла им избегать налогового бремени и военных опасностей. Я называю это третичным расселением. Две первые революции — аграрная и усложнение социальной структуры — прошли более спокойно, потому что государство тогда еще не контролировало крестьян, а занималось „объединением людей... и созданием деревень“ ...»[9].

Последнее великое огораживание

Только современное государство в своих колониальных и суверенных воплощениях обрело ресурсы для реализации того проекта управления, который прежде лишь в мечтах являлся его доколониальным предшественникам, — подчинения безгосударственных территорий и народов. По сути, это последнее великое огораживание в Юго-Восточной Азии, которое последовательно — пусть и очень грубо, неуклюже и с постоянными откатами назад — проводилось по крайней мере на протяжении всего XX столетия. Все правительства — колониальные и независимые, коммунистические и неолиберальные, популистские и авторитарные — стремились к выполнению этого проекта. Навязчивая идея огораживания приводила к разным, но всегда негативным результатам, видимо, потому что любые проекты административной, экономической и культурной стандартизации с трудом совместимы с современными моделями государственности.

По логике государства подобное огораживание — это попытка интеграции людей, территорий и ресурсов периферийных районов, в том числе финансовыми средствами, для повышения их *рентабельности* (если оперировать французскими терминами), то есть для превращения в подотчетные источники валового национального продукта и экспортной торговли. Но в действительности жители периферий всегда были крепко экономически связаны с центральными территориями и мировой торговлей. Нередко именно они производили наиболее ценные с точки зрения международной торговли товары. Тем не менее попытки полностью инкорпорировать их в экономику страны гордо именовались развитием, экономическим прогрессом, искоренением неграмотности и социальной интеграцией, хотя на деле речь шла совершенно о другом: целью государства было не столько повышение производительности периферий, сколько гарантии того, что экономическая деятельность здесь будет законодательно отрегулирована, обложена налогами, статистически учтена и предполагает процедуру конфискации; если же она этим критериям соответствовать не могла, то замещалась удобными государству экономическими формами. Везде, где возможно, государство принуждало кочевых, подсечно-огневых земледельцев к оседлому образу жизни в деревнях. Оно также пыталось заменить общую собственность на землю иными институциональными формами — собственностью коллективных хозяйств или, чаще, частной собственностью, свойственной либеральным экономикам; национализировало леса и залежи полезных ископаемых; везде, где возможно, вводило наличный расчет, вытесняло монокультурными (похожими на плантации) аграрными производствами прежние поликультурные натуральные хозяйства. Термин «огораживание» кажется мне наиболее подходящим для описания этих процессов, напоминая об огораживании в Англии после 1761 года, когда крупные частные коммерческие хозяйства поглотили половину крестьянской пашни.

Оригинальность и революционный характер этого грандиозного огораживания станут очевидны, если мы максимально расширим его временные рамки. Исторически первые государства Китая и Египта, позже Индия в конце правления Чандрагупты, классическая Греция и республиканский Рим с демографической точки зрения были очень скромны: они занимали крохотную часть мирового ландшафта, укладываясь в пределы статистической погрешности при оценке общей численности населения Земли. Роль равнинной Юго-Восточной Азии, где первые государства возникли только в середине нашего тысячелетия, в истории ничтожна и явно переоценена в учебниках. Маленькие городишки, обнесенные стенами и рвами с водой, окруженные несколькими деревеньками, эти крошечные оплоты социальной иерархии и политической власти, были крайне нестабильны и географически изолированы. Для человека, не испытывающего восторга перед археологически значимыми руинами и историческими вехами государственного строительства, это пространство выглядит как сплошная периферия без каких-либо центров — большая часть здешнего населения и территорий прекрасно существовала без них.

Несмотря на свою крохотность, эти государственные образования обладали одним стратегическим и военным преимуществом — концентрировали человеческие и пищевые ресурсы вследствие ирригационного рисоводства[10]. В качестве новой политической формы эти рисовые государства объединяли ранее живших вне государственных институций людей: несомненно, часть из них привлекали возможности торговли, обогащения и социально-статусного роста при дворах правителей; другие, и таких было большинство, были пленниками и рабами, захваченными в битвах или купленными на невольничьих рынках. Огромная «варварская» периферия подпитывала первые миниатюрные государства по крайней мере в двух отношениях: во-первых, она поставляла сотни товаров и лесных продуктов, необходимых для процветания игрушечных рисовых городов; во-вторых, была источником наиболее важного товара того времени — пленников, основной рабочей силы государств. Мы точно знаем, что большая часть жителей Древних Египта, Греции и Рима, первых государств кхмеров, тайцев и бирманцев была несвободна — это были рабы, пленники и их потомки.

Огромное неконтролируемое пространство вокруг недолговечных государств постоянно угрожало их безопасности. Здесь жили кочевые народы, которые ради выживания занимались то собирательством, то охотой, то подсечно-огневым земледелием, то рыболовством, то скотоводством, но принципиально отрицали государственный контроль. Разнообразие, текучесть и изменчивость их жизненных практик означали, что аграрное государство, базирующееся на оседлом образе жизни, не могло рассчитывать на эти не подчиняющиеся ему территории с финансовой точки зрения. Пока их жители сами не изъявляли желания торговать, их товары были никому не доступны, в том числе потому что первые государства практически всегда возникали на пахотных равнинах и плато, а многочисленные безгосударственные группы жили, с точки зрения государства, в географически труднодоступных районах — гористых, болотистых, затопленных, засушливых или пустынных. Даже если, что изредка случалось, их товары оказывались в принципе доступны, рассеяние кочевых народов и трудность транспортировки сводили на нет экономическую выгоду подобной торговли: центр и периферия по своему расположению дополняли друг друга и автоматически должны были стать торговыми партнерами, но вести торговлю было практически невозможно, поэтому она обретала форму редких добровольных

обменов.

Для государственной элиты периферия, воспринимаемая часто как полчища «варварских племен», также представляла потенциальную угрозу. Редко, но надолго оставляя воспоминания (завоевания монголов, гуннов и османов), вооруженные кочевники сметали государства и правителей. Безгосударственные племена часто нападали на поселения земледельцев, иногда облагая их данью по примеру государства, которому оседлый образ жизни и сельское хозяйство были нужны для «облегчения сбора податей».

Впрочем, основной и постоянной угрозой со стороны неуправляемой периферии было искушение иным, чем в государстве, образом жизни. Основатели первых государств часто отнимали у земледельцев пахотные земли, предлагая им либо стать гражданами, либо убираться. Выбравшие второй вариант, по сути, стали первыми политическими беженцами, примкнув к группам, оставшимся вне сферы влияния государства. Когда бы оно ни расширяло свои границы, жители прежде периферийных районов оказывались перед той же дилеммой.

Когда государство проникает повсюду и кажется вездесущим, легко забыть, что на протяжении большей части человеческой истории жизнь внутри государства, за его пределами или же в некоторой буферной зоне была предметом выбора, который можно было сделать, а потом изменить, если того требовали обстоятельства. Процветающие мирные государства привлекали все больше людей, находящихся в них массу преимуществ, — таков доминирующий цивилизационный нарратив, в соответствии с которым дикие варвары, зачарованные величием мирных и справедливых царств, становились их гражданами. Этот нарратив пронизывает все мировые религии, основанные на идее спасения, не говоря уже о сочинениях Томаса Гоббса.

Но этот же нарратив упускает из виду два важных момента: во-первых, как уже было сказано выше, множество, если не большинство жителей первых государств были не свободны, а закабалены; во-вторых, и этот факт наиболее неудобен для доминирующего цивилизационного нарратива, граждане имели привычку сбегать из городов-государств. Жизнь в городе по определению означала необходимость платить налоги, нести воинскую повинность, отрабатывать барщину, а зачастую и сервитут — это основа стратегии развития государства и его военной мощи. Когда груз этих обязательств оказывался чрезмерным, люди не задумываясь сбегали на периферию или в другое государство. Очень долго до наступления нашей эры скученность населения и домашнего скота и сильная зависимость от одной зерновой культуры определяли здоровье людей и плодородие почв, а потому так часто случались голодные годы и эпидемии. Кроме того, первые государства были военными машинами, проливающими реки крови своих граждан, поэтому те стремились избежать воинской повинности, военных набегов и разорений. Вот почему первые государства выталкивали населения не меньше, чем поглощали, а в случае нередких в то время войн, засух, эпидемий или мятежей, которые подрывали основы государственного строя, — просто изрыгали его. Государство — не что-то раз и навсегда данное: бесчисленные археологические находки в местах расположения столиц первых царств, которые быстро расцвели и в мгновение ока были сметены с лица земли войнами, эпидемиями, голодом или стихийными бедствиями, говорят о длительных периодах

создания и распада государств, а не об их вневременной устойчивости. В течение столетий люди жили то в государствах, то без них, причем «безгосударственность» была цикличной и обратимой[11].

Чередование периодов строительства и разрушения государств привело со временем к формированию периферии, состоявшей в равной степени из беглецов и кочевников, которые никогда не были гражданами какого-либо государства. Эта «осколочная территория» вне государств, где волей-неволей объединились группы — осколки государственного строительства и политического соперничества, постепенно превратилась в зону удивительного смешения этносов и языков. Экспансия и развал государств порождали и эффект храповика: пример беженцев заставлял и других жителей государств искать на безгосударственной периферии безопасный приют и новую жизнь. Вот почему большая часть горных массивов Юго-Восточной Азии — именно такая осколочная зона: название юго-западной китайской провинции Юньнань — «музей человеческих рас» — отражает эту историю миграций. Подобные зоны возникали везде, где экспансия государств, империй, работоторговли и войн наряду с природными катаклизмами вынуждали многочисленные группы людей искать убежище в труднодоступных районах: на Амазонке, в высокогорьях Латинской Америки (за исключением Анд, где государства возникали на плодородных плато), в высокогорьях Африки, куда не совершали набеги работоторговцы, на Балканах и Кавказе. Отличительные черты всех осколочных зон — относительная географическая труднодоступность и исключительное многообразие языков и культур.

Такая трактовка периферии резко контрастирует с официальными версиями цивилизационного развития, которых придерживается большинство народов и в соответствии с которыми отсталые, наивные и фактически варварские племена постепенно входили в состав развитых, более совершенных в культурном отношении и процветающих государств. В действительности же многие безгосударственные варвары в тот или иной период истории предпочитали, совершая осознанный политический выбор, от государства дистанцироваться — это обстоятельство вносит в прежнюю благостную историческую картину новый компонент политического действия. Многие, если не большинство, жители неподконтрольной государству периферии сознательно здесь селились, а потому их нельзя считать реликтами канувших в лету прежних социальных формаций, которые горожане равнин Юго-Восточной Азии называют своими «живыми предками». Состояние значительных групп людей, сознательно выбравших жизнь за пределами государств, нередко и совершенно неуместно называется «вторичным примитивизмом». Но повседневное существование, социальная организация, территориальное расселение и многие элементы культуры периферий далеки от архаических и целенаправленно и искусно спроектированы, чтобы одновременно предотвращать их поглощение близлежащими государствами и минимизировать шансы формирования здесь структур власти, аналогичных государственным. Бегство от государства и предотвращение возникновения его аналогов пронизывают все жизненные практики и, нередко, идеологию периферии, являясь, таким образом, «эффектом государства». Жители периферии — «сознательные варвары»: они ведут активную и взаимовыгодную торговлю с государственными центрами на равнинах, старательно избегая их политического влияния.

Если мы признаем хотя бы возможность того, что «варварство» — не остаточное явление, а сознательный выбор места и образа жизни и социальной структуры для сохранения независимости, то общепринятая версия социальной эволюции человеческой цивилизации разбивается вдребезги. Ее временная периодизация — от собирательства к подсечно-огневому земледелию (где-то — к скотоводству), далее — к оседлому и ирригационному земледелию, параллельно от кочевничества — к небольшим расчищенным в лесах пашням, затем — к деревушкам, селам, городам и столичным центрам — подкрепляет чувство превосходства равнинных государств. Но что, если каждая из этих гипотетических «стадий» — на самом деле просто набор вариантов социальности, любой из которых представляет собой особый тип взаимоотношений с государством? И что, если в течение длительных исторических периодов многие народы, исходя из стратегических соображений, выбирали из этого набора наиболее «примитивные» формы социальности, чтобы держать государство от себя на почтительном расстоянии? Тогда цивилизационный дискурс равнинных государств и многие ранние версии социальной эволюции — не что иное, как самонадеянное увязывание государственности с цивилизованностью и безосновательное объявление безгосударственных народов примитивными.

Аргументация моей книги принципиальным образом противостоит этой версии исторического процесса. Практически никакие характеристики, с помощью которых осуществляется стигматизация населения периферий, — проживание в приграничных районах, территориальная мобильность, подсечно-огневое земледелие, подвижная социальная структура, религиозная неортодоксальность, эгалитаризм и даже отсутствие письменности и доминирование устной традиции — не говорят о его примитивности и цивилизационной отсталости. В длительной исторической перспективе это способы адаптации, направленные одновременно на избегание захвата государством и предотвращение его формирования, то есть это политический выбор безгосударственных людей в мире государств, которые одновременно и очаровывают, и пугают.

Заполучение граждан

Очень долго в истории избегание государства было реальной альтернативой: тысячи лет люди жили вообще без государственных структур или в огромных, расколотых на множество суверенных владений, империях с плохо сообщающимися территориями[12]. Сегодня эта возможность практически исчезла. Чтобы понять, сколь драматично сократилось поле для маневра за последние тысячелетия, смоделируем предельно упрощенную и ускоренную схему изменения баланса сил без- и государственных народов в истории.

В центре этой модели находится прочная взаимосвязь государства и оседлого сельского хозяйства[13]. Государство всячески стимулировало развитие оседлыми земледельцами зернового производства, которое в обозримой исторической ретроспективе было и остается фундаментом государственной власти. Кроме того, оседлое сельское хозяйство обусловило возникновение земельной собственности, патриархальной семьи и, что особенно важно и поддерживалось государством, больших семейных хозяйств. Зерновое производство по определению экстенсивно, а потому быстро растет и, если ему не мешают болезни и голод,

обеспечивает избыток населения, которое вынуждено мигрировать и осваивать новые земли. Соответственно, на длительном историческом отрезке именно оседлое земледелие — «кочевое» и агрессивное, постоянно себя воспроизводящее на все новых территориях, тогда как, что точно подметил Хью Броуди, собиратели и охотники, живущие на одной и той же территории и демографически более стабильные, наоборот, оказываются «исключительно оседлыми»[14].

Массированная европейская колониальная и поселенческая экспансия привела к широкому распространению оседлого земледелия. В «Новых Европах» — Северной Америке, Австралии, Аргентине и Новой Зеландии — европейские поселенцы по мере сил развивали привычный для себя тип сельского хозяйства. В колониях, где до них уже существовали государства с оседлым земледелием, европейцы заменили местных феодалов своими губернаторами, которые собирали налоги и следовали местным традициям поддержки оседлого земледелия, лишь внедряя более эффективные формы хозяйствования. Все прочие туземные практики, если только они не были выгодны с торговой и финансовой точек зрения (например пушной промысел), признавались бесполезными, а потому собиратели, охотники, подсечно-огневые земледельцы и скотоводы игнорировались или вытеснялись с пахотных земель на бесплодные пустоши. Тем не менее к концу XVIII века, утратив свой статус большинства населения земли, безгосударственные народы всё ещё занимали большую часть континентов — леса, скалистые горы, степи, пустыни, территории Крайнего Севера, болотистые и другие труднодоступные отдаленные зоны были приютом для всех, кто имел причины бежать от государства.

В общем и целом жителей периферии было нелегко втянуть в четко регламентированные денежные отношения наемного труда и оседлого земледелия. В этом смысле «цивилизация» их не привлекала: они могли пользоваться всеми преимуществами торговли, не сопряженной с каторжным трудом, подчинением и ограниченной мобильностью — со всем тем, с чем имели дело граждане. Масштабы сопротивления государству обусловили наступление так называемого золотого века рабства на побережьях Атлантического и Индийского океанов в Юго-Восточной Азии[15]. Местное население массово сгонялось с территорий, где его труд объявлялся незаконным или бесполезным, и перевозилось в колонии и на плантации, где его заставляли возделывать наиболее доходные для землевладельцев и государственной казны культуры (чай, хлопок, сахар, индигоферу, кофе и др.)[16]. Первым шагом в процессе огораживания стало закабаление — насильственный захват и вывоз населения с безгосударственных территорий, где люди в большинстве своем вели независимую (и счастливую!) жизнь, туда, где государству был нужен их рабский труд.

Два заключительных этапа массового огораживания, пришедшиеся в Европе на XIX век, а в Юго-Восточной Азии — в основном на конец XX века, знаменуют настолько радикальное изменение отношений государств со своими перифериями, что фактически выпадают из моей модели. В этот период «огораживание» означало не столько перемещение безгосударственных людей на подконтрольные государству территории, сколько колонизацию периферии — превращение ее в полностью контролируемую, управляемую и экономически доходную зону.

Внутренняя, зачастую не до конца осознаваемая логика огораживания — окончательное избавление от безгосударственных пространств. Этот поистине имперский проект стал возможен только благодаря современным технологиям, сокращающим расстояния (всепогодные дороги, мосты, железнодорожное и авиасообщение, современное оружие, телеграф, телефон, новые информационные технологии, включая глобальные навигационные спутниковые системы), говорить о которых в Юго-Восточной Азии даже после 1950 года бессмысленно. Нынешнее понимание суверенитета и ресурсные потребности развитого капитализма отчетливо обозначили последнюю стадию огораживания.

Национальное государство, как, по сути, базовый и единственно возможный вариант суверенитета в XX веке, воспринимается крайне враждебно безгосударственными народами. В этой модели верховная власть обладает монополией на применение насилия, которая по определению простирается на всю территорию страны; за ее границами аналогичным правом обладает соседнее суверенное государство. Сегодня в принципе исчезли большие, никем не контролируемые или раздираемые противоречиями нескольких слабых держав территории и народы, не относимые ни к чьей юрисдикции. Исходя из практических соображений, национальные государства стремились к этому, затрачивая все имеющиеся ресурсы: создавая военизированные пограничные посты, перемещая лояльное население ближе к границам, замещая им вытесняемое «нелояльное», развивая на приграничных территориях оседлое земледелие и транспортное сообщение, вводя миграционный учет.

Обеспечивая свой суверенитет, национальные государства осознавали, что прежде игнорировавшиеся и считавшиеся бесполезными земли, куда вытеснялись безгосударственные народы, жизненно необходимы развитой капиталистической экономике[17], поскольку богаты природными ресурсами — нефтью, железной рудой, медью, свинцом, ураном, углем, бокситами, редкоземельными металлами, исключительно важными для развития аэрокосмической и электронно-технической индустрий и гидроэлектростанций, биоресурсами и заповедными зонами — то есть всем тем, что может стать источником государственных доходов. Районы, прежде привлекательные лишь запасами серебра, золота и драгоценных камней, не говоря уже о рабах, переживают новый виток золотой лихорадки благодаря навязчивому желанию государств жестко контролировать свою территорию вплоть до самых отдаленных границ — неуправляемых периферий и всех их жителей.

Захват этих территорий и установление здесь жесткого контроля невозможны без соответствующей культурной политики. В основном периферия вдоль государственных границ материковой Юго-Восточной Азии населена людьми, по своим языковым и культурным практикам резко отличающимися от жителей центральных регионов, что порождает озабоченность государств беспорядочными перемещениями через национальные границы, создающими хаотичное множество идентичностей, потенциальные очаги политического протеста и сепаратизма. Слабые равнинные государства разрешали, вернее, терпели определенный уровень автономии, если у них не было иного выбора. Если же они обладали достаточными ресурсами, то пытались контролировать периферию, стимулируя или, реже, требуя ее лингвистического, культурного и религиозного соответствия

основному населению страны. Например, в Таиланде народность лаху вынуждали говорить на тайском, получать образование, принимать буддизм и сохранять лояльность монархии; в Бирме народность карен — говорить на бирманском, принимать буддизм и поддерживать военную хунту[18].

Параллельно с экономическим, административным и культурным выравниванием проводилась и политика демографического поглощения, обусловленная демографическим давлением и планами государственного строительства. В поисках незанятой земли огромное число людей с равнин перемещалось или вытеснялось в горные районы. Здесь они воссоздавали привычные для себя формы поселений и оседлого земледелия и со временем начинали демографически доминировать над рассеянными и мало численными местными жителями. Комбинация принудительного заселения и демографического поглощения хорошо просматривается в серии государственных мобилизационных кампаний во Вьетнаме в 1950-х и 1960-х годах: «Оседлость — кочевникам», «За оседлое земледелие и оседлый образ жизни», «Атака на горы», «Очистим горы с помощью электричества»[19].

Культурная стандартизация и унификация автономных, самоуправляемых сообществ — длительный процесс, определяющий историческое самосознание каждого крупного материкового государства в Юго-Восточной Азии. Так, в официальном национальном нарративе Вьетнама «поход на юг» — к Меконгу и через дельту реки Бассак — представлен неточно, хотя это ключевое историческое событие, не уступающее по важности борьбе за национальное освобождение и самоопределение[20]. История Бирмы и Таиланда также отмечена перемещением населения с северных, первоначальных регионов заселения Мандалая, Аюттхай и нынешнего Ханоя в соответственно дельты рек Иравади, Чао Прая и Меконг. Великие космополитические морские города Сайгон (сегодня это Хошимин), Рангун и Бангкок, созданные для охраны дельт рек, прибрежных территорий и внутренних районов, сегодня демографически доминируют над исторически более ранними городами в центре страны.

Понятие «внутренний колониализм» в самом широком своем смысле прекрасно описывает произошедшее, поскольку включает в себя поглощение, перемещение и/или истребление местных жителей; ботаническую колонизацию, в ходе которой ландшафт преобразовывался путем вырубки лесов, осушения или ирригации земель, чтобы обеспечить выращивание новых зерновых культур, заложить основы оседлого образа жизни и административной системы по государственному или колониальному образцу. Один из способов оценки результатов внутренней колонизации — рассмотреть ее как массивное, последовательное и широкомасштабное искоренение местного многообразия языков, малых народностей, локальных практик хозяйствования, форм земельной собственности, видов охоты, собирательства и лесничества, религиозных верований и т. д. Принудительное сближение периферии с центром представители государственной власти называли прогрессом и развитием цивилизации, считая, что таковые достижимы через распространение лингвистических, хозяйственных и религиозных практик доминирующей этнической группы (ханьцев, кинхов, бирманцев, тайцев)[21].

Оставшиеся безгосударственными народы и территории материковой Юго-Восточной Азии крайне малочисленны. Меня интересуют прежде всего так называемые горные народы

Бирмы (их часто ошибочно называют племенами). Я сразу хочу уточнить, что странный термин «безгосударственные пространства» я использую не как синоним высокогорий, а как обозначение труднодоступных территорий. Государства, чье существование определялось концентрацией зернового производства, обычно возникали там, где были огромные пространства пахотных земель. В материковой Юго-Восточной Азии подобные агроэкологические районы обычно расположены в низинах, а потому я говорю о «равнинных государствах» и «горных народах». В случае же когда, как в Андах, наиболее пригодные для ведения традиционного сельского хозяйства земли расположены на значительных высотах, все происходило ровно наоборот: государства возникали в горных районах, а безгосударственные пространства складывались у подножий гор во влажных низинах. Иными словами, ключевой фактор государственного строительства — не высотность сама по себе, а возможности концентрации зернового производства. Безгосударственные пространства, в свою очередь, формировались там, где, прежде всего в силу сложных географических условий, государству было крайне сложно устанавливать и сохранять контроль. Вероятно, именно географические препятствия на пути государственной власти имел в виду император Минь, говоря о юго-западных провинциях своей империи: «Дороги длинны и опасны, горы и реки труднопроходимы, обычаи и традиции разнятся»[22]. Болота, топи, мангровые заросли, пустыни, вулканически опасные зоны, даже открытое море, как и постоянно расширяющиеся и меняющиеся дельты великих рек Юго-Восточной Азии, — все они выполняют одну и ту же функцию: независимо от своей высотности, это трудно- или недоступные земли, которые сводят на нет все попытки государственного контроля; потому на протяжении всей истории они служат спасительным убежищем для тех, кто противостоит государству или бежит от него.

Великое горное царство — Зомия, или Пограничные территории материковой Юго-Восточной Азии

Один из крупнейших, если не *самый* большой оставшийся на земле безгосударственный регион — это обширное высокогорное пространство, которое называется по-разному на *равнинной части* Юго-Восточной Азии, но в последнее время — Зомией[23].

Эта огромная горная область на границах материковой Юго-Восточной Азии, Китая, Индии и Бангладеш простирается примерно на 2,5 миллиона квадратных километров, занимая площадь, практически равную Европе. Вот как один из первых ученых, выбравших это пространство и населяющие его народы как объект изучения, Жан Мишо, оценил его масштабы: «С севера на юг оно охватывает южные и западные границы провинции Сычуань, полностью Гуйчжоу и Юньнань, западные и северные земли провинции Гуанси, западную часть провинции Гуандун, большую часть северной Бирмы с соседней территорией самой [северо]-восточной Индии, север и запад Таиланда, практически весь Лаос выше долины реки Меконг, северный и центральный Вьетнам вдоль исторической области Аннамских гор, север и восточные рубежи Камбоджи»[24].

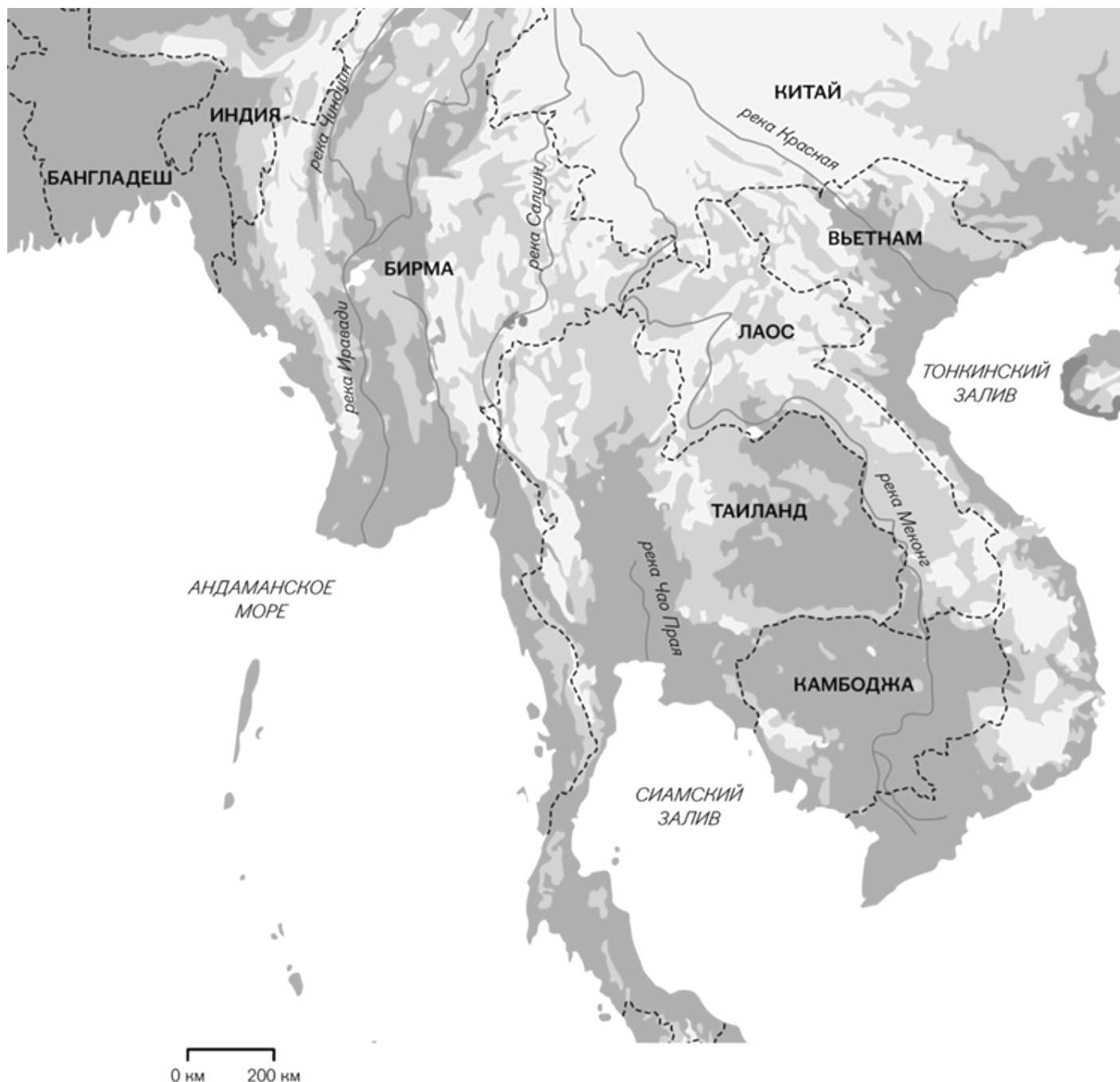
По самым приблизительным подсчетам населяющие Зомию меньшинства насчитывают от восьмидесяти до ста миллионов человек[25]. Эти народности состоят из сотен этнических подгрупп и используют наречия по крайней мере пяти языковых групп, которые не поддаются какой-либо классификации.

Будучи расположена на высоте от двухсот-трехсот метров до более чем четырех тысяч метров над уровнем моря, Зомия могла бы восприниматься как Аппалачи Юго-Восточной Азии, если бы не тот факт, что она охватывает территорию восьми национальных государств. Поэтому лучшей аналогией является Швейцария — горная периферия Германии, Франции и Италии, ставшая самостоятельным государством. Заимствуя удачную характеристику Эрнеста Геллнера, данную им берберам Высокого Атласа, можно назвать Зомию, эту широко раскинувшуюся горную территорию, «огромной Швейцарией, только без часов с кукушкой»[26]. Впрочем, эти высоко расположенные территории не формируют горную страну, поскольку здесь много болот, да и расположены они слишком далеко от основных городских центров соответствующих национальных государств[27]. Практически во всех возможных смыслах Зомия — маргинал: она географически далека от очагов экономической деятельности, формирует своеобразную контактную зону восьми национальных государств и целого ряда традиций и космологий[28].

Научные школы, исторически возникавшие в первых классических государствах, в их культурных центрах и, даже чаще, в национальных государствах, к сожалению, используют неадекватную оптику для изучения этого высокогорного пояса в качестве некоей целостности. Виллем ван Шендель — один из немногих ученых, кто впервые убедительно обосновал необходимость рассматривать эту совокупность «осколков» национальных государств как особый регион. Он пошел даже дальше и дал этой «осколочной» зоне собственное благородное имя — Зомия: этот термин привычен горцам, которые говорят на близких тибетских и бирманских языках на пограничных территориях между Индией, Бангладеш и Бирмой[29]. Собственно *Зо* означает «отдаленный» и потому несет в себе коннотацию жизни в горах; *Ми* — «люди». Практически по всей Юго-Восточной Азии сочетания *Ми-зо* и *Зо-ми* обычно используются для обозначения жителей удаленных горных районов, хотя в то же время это устойчивое этническое название географической области[30]. Ван Шендель смело предлагает растянуть границы Зомии до Афганистана и да же дальше; я все же буду использовать этот термин для обозначения более восточных горных территорий, начиная с горных районов Нага и Мизо на севере Индии и Читтагонгского горного района в Бангладеш.

На первый взгляд Зомия кажется неподходящим кандидатом на звание отдельного региона. Для того чтобы некоторая географическая область могла называться регионом, она должна обладать значимыми культурными чертами, явно отличающими ее от соседних территорий. Например, подобным образом Фернан Бродель обосновал свое утверждение, что населяющие побережья Средиземного моря сообщества составляют особый регион, поскольку между ними существуют длительные и интенсивные коммерческие и культурные связи[31]. Несмотря на глубочайшие политические и религиозные противоречия между Венецией и Стамбулом, они всегда были неотъемлемой частью легко опознаваемого мира постоянных обменов и взаимного влияния. Энтони Рид высказал схожее, но по многим параметрам куда более сильное предположение относительно прибрежных территорий

Зондского шельфа в морской Юго-Восточной Азии, где осуществлять торговлю и миграцию было куда проще, чем в Средиземноморье[32]. Принцип формирования региона во всех случаях схож: в досовременном мире вода, особенно если она была спокойной, объединяла людей, тогда как горы, особенно если они были высоки и скалисты, — разобщали. Уже к 1740 году морское путешествие от Саутгемптона до мыса Доброй Надежды занимало не больше времени, чем поездка на дилижансе из Лондона до Эдинбурга.



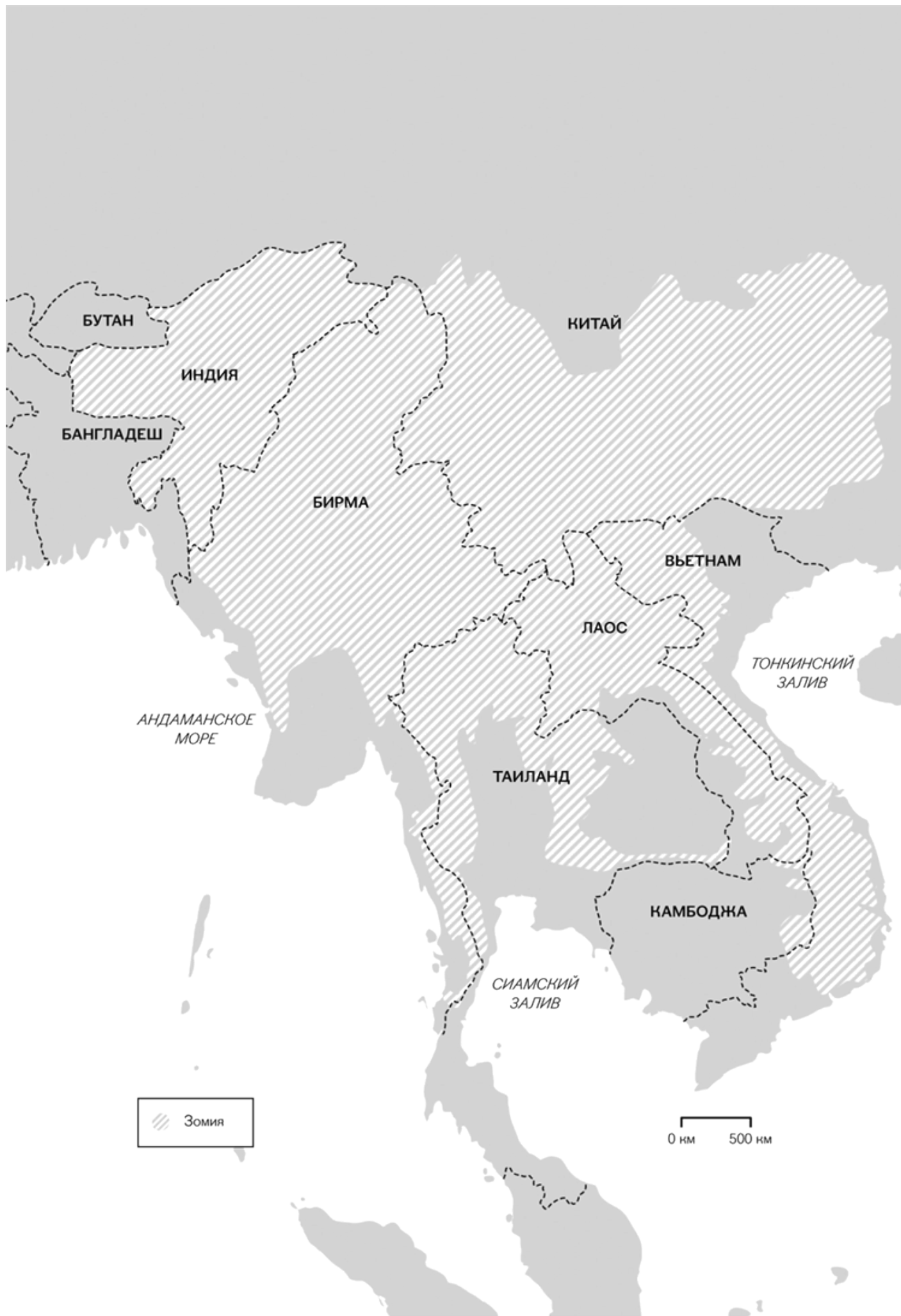
Карта 1. Материковая Юго-Восточная Азия

На этом основании следует считать Зомию скорее «негативным» регионом, поскольку разнообразие, а не однородность — ее отличительное свойство. На площади в сотню километров в здешних горах можно обнаружить большее культурное многообразие — языков, видов одежды и поселений, этнических идентичностей, экономических занятий и религиозных практик, — чем где-либо в долинах рек. Наверное, Зомия не может

похвастаться тем безмерным культурным разнообразием, коим обладает почти калейдоскопичная Новая Гвинея, но и здесь крайне сложная этническая и лингвистическая мозаика ставила в тупик этнографов и историков, не говоря уже о претендентах на статус правителей. Научные исследования этой территории оказались столь же фрагментарными и автономными, как и она сама[33].

Я глубоко убежден не только в том, что Зомия — регион в полном смысле этого слова, но и в том, что невозможно сконструировать сколь-либо удовлетворительную модель становления равнинных государств, не понимая, насколько важную роль в их возникновении и распаде сыграла Зомия. Я считаю, что диалектические и симбиотические отношения гор и равнин, как антагонистических, но одновременно тесно взаимосвязанных пространств, должны быть исходной посылкой любых научных гипотез исторического развития Юго-Восточной Азии.

Большая часть физически и социально обжитых горных пространств внятно отличается от куда более плотно заселенных городских центров в долинах. Жители гор значительно более рассеяны и разнятся в культурном отношении. Такое впечатление, что сложные географические условия и относительная изоляция в течение веков стимулировали нарастание здесь «спецификации» языков, диалектов, одежды и культурных практик. Относительная доступность лесных ресурсов и земли на крутых склонах также способствовала большей дифференциации хозяйственных практик, чем это было возможно в долинах, где в основном безраздельно доминировало поливное рисоводство. Подсечно-огневое земледелие (или палевое, «огневое»), требующее больше территорий для постоянного выжигания все новых лесов под поля и иногда перемещений поселений, куда больше распространено в горных районах.



Карта 2. «Зомия» в горной части материковой Юго-Восточной Азии

В целом социальная структура здесь более подвижна и эгалитарна, чем в иерархических равнинных обществах с кодифицированными системами права. Гибридные идентичности, территориальные перемещения и социальная подвижность — типичные характеристики жителей приграничных районов. Первые колониальные чиновники, проводя инвентаризацию своих новых владений, были удивлены, обнаружив деревни, в которых бок о бок проживали несколько «народностей»: на селение горных деревень говорило на трех-четырёх языках, этническая идентичность отдельных членов или групп могла существенно варьировать, иногда даже в рамках одного поколения. Стремясь составить реестр населения по модели классификации растительного и животного мира Линнея, колониальные чиновники постоянно впадали в отчаяние, сталкиваясь с поразительной текучестью населения, которое просто отказывалось жить на одном месте. Тем не менее нашелся единственный поселенческий принцип, который смог внести хоть какой-то порядок в эту, казалось бы, полную анархию идентичностей, — высотность проживания[34]. Как первым заметил Эдмунд Лич, если смотреть на Зомию не с высоты воздушного шара, а в горизонтальной плоскости, как бы прочерчивая топографический профиль территории, то ее упорядоченность становится очевидна[35]. В любом ландшафте каждая конкретная группа обычно селится в достаточно ограниченном диапазоне высот, чтобы использовать агроэкономические возможности своей экологической ниши. Так, например, народность хмонг предпочитает селиться очень высоко (между восьмьюстами и тысячей метров над уровнем моря) и выращивает кукурузу, опий и просо, которые бурно разрастаются на этих высотах. Если с воздушного шара или же на карте поселения хмонгов выглядят как случайная россыпь мельчайших точек, то только потому что эта народность целенаправленно селится только на вершинах гор, оставляя склоны и межгорные долины другим группам.

Расселение в горах в четком соответствии с высотностью над уровнем моря и экологическими нишами влечет за собой территориальное рассеяние. Однако дальние перемещения, брачные союзы, схожие хозяйственные практики и культурная преемственность способствуют формированию схожих идентичностей на огромных территориях. Народность акха, проживающая вдоль границы провинции Юньнань и Таиланда, и народность хани, населяющая верховья Красной реки во Вьетнаме, — очевидно похожие культуры, хотя и разделенные более чем тысячей километров. Обычно горные народности более схожи друг с другом, чем какая бы то ни было из них с равнинными группами, проживающими не далее тридцати-сорока миль от них. Таким образом, Зомия существует как регион не благо даря политическому единству, которого здесь просто нет, но вследствие аналогичности разнообразных горных сельскохозяйственных практик, моделей расселения и мобильности, принципов грубого эгалитаризма, который, что неслучайно, приписывает женщинам несколько более высокий статус, чем достался жительницам долин[36].

Ярчайшая отличительная черта Зомии в сопоставлении с низменными регионами, с которыми она граничит, — ее относительная безгосударственность. Конечно, в исторической перспективе в горах возникали государства — эта возможность гарантировалась достаточно плодородными плато и/или же расположением на пересечении

важных сухопутных торговых путей. Наньчжао, Кенгтунг, Нан и Ланна — самые известные из них[37] — исключения, подтверждающие правило. Хотя проекты государственного строительства в изобилии возникали в горных районах, справедливости ради надо отметить, что лишь небольшая их часть смогла осуществиться. Претенденты на звание царств, которым удавалось сломить сопротивление объективных обстоятельств, сохраняли свои позиции лишь на очень короткий и заполненный бесконечными кризисами период времени.

Но если отставить в сторону эти немногочисленные случаи возникновения государств, горы, в отличие от долин, не платили налоги монархам и десятины каким-либо устойчивым религиозным институтам. Здешние жители представляли собой сообщества относительно свободных, обходившихся без государства животноводов и горных фермеров. Положение Зомии на границах центров равнинных государств определило ее своеобразную изоляцию и, соответственно, автономию, которой подобная изоляция способствует. Само размещение Зомии в буферной зоне на границах множества конкурирующих и примыкающих друг к другу суверенных государств предоставляло населяющим ее народам определенные преимущества в занятиях контрабандой, производстве опиума и создании «мелких пограничных держав», с трудом балансирующих на грани утраты тяжело выторгованной квазинезависимости[38].

Более убедительное и, я думаю, корректное политическое описание Зомии состоит в том, что горные народы активно сопротивлялись поглощению классическими, колониальными и независимыми национальными государствами. Помимо использования преимуществ своей географической изоляции от центральных районов суверенных держав, большая часть Зомии «противостояла проектам национального и государственного строительства тех стран, на территории которых находилась»[39]. Это сопротивление стало особенно явным после получения многими государствами независимости после Второй мировой войны — Зомия стала ареной сепаратистских восстаний, борьбы за права коренных народов, милленаристских движений, региональных конфликтов и вооруженного противостояния равнинным государствам. Однако истоки этих протестов схожи: в доколониальную эпоху сопротивление, по сути, было культурно детерминированным отказом от жизненных практик долин и выражалось в бегстве из государств в горы в поисках прибежища.

В колониальный период политическая и культурная автономия горных районов поддерживалась европейцами, которые воспринимали местный сепаратизм как малозначимую для себя проблему по сравнению с сопротивлением большинства равнинных жителей колониальным порядкам. Одним из результатов классической политики «разделяй и властвуй» стало то, что, за редкими исключениями, горные народы играли незначительную роль или вообще не участвовали в антиколониальных восстаниях (а иногда выступали на стороне колониальных властей). В лучшем случае они оставались в маргинальной позиции по отношению к национально-освободительным нарративам, в худшем — считались пятой колонией, угрожающей национальной независимости. Отчасти по этой причине постколониальные равнинные государства стремились установить полный контроль за горными территориями, используя для этого методы военной оккупации, проводя кампании против подсечно-огневого земледелия, основывая поселения, стимулируя миграцию горожан в горные районы, насаждая религиозные практики, побеждая

пространство строительством дорог, мостов и телефонных линий, претворяя в жизнь программы развития, в ходе которых в горах вводились равнинные модели административного управления и культурные стили жизни.

Но горы — не только пространство политического сопротивления, но и зона культурного протеста. Если бы дело было только в политике и власти, то, скорее всего, горные сообщества походили бы на равнинные государства в культурном отношении, отличаясь от них лишь высотностью и рассеянностью расселения, обусловленными географическими факторами. Однако нельзя сказать, что в целом жители гор похожи на население равнин с точки зрения культурных, религиозных и лингвистических практик. Социокультурная пропасть между горами и долинами до самого недавнего времени воспринималась в Европе как некая историческая константа. Фернан Вродель признавал политическую независимость гор и одобительно цитировал высказывание барона де Тотта о том, что «самые скалистые горы всегда были прибежищем свободы». Но он пошел еще дальше, предположив наличие непреодолимого культурного разрыва между долинами и горами: «Горы, как правило, представляют собой мир, удаленный от цивилизации, детища городов и низменностей. Жители гор в большинстве случаев остаются на обочине великих цивилизационных движений, бывают не затронуты их медленным распространением. Обладая хорошей способностью к расширению по горизонтальной плоскости, эти движения оказываются бессильными перед препятствиями в несколько сотен метров, мешающими им подниматься по вертикали»[40]. По сути, Вродель воспроизводит идею, высказанную столетия назад, в XIV веке, великим арабским философом Ибн Хальдуном, заметившим, что «арабы могут установить контроль только на равнинной территории» и не преследуют племена, которые скрываются в горах[41]. Сравните смелое утверждение Вроделя о том, что цивилизации не могут подняться в горы, с почти идентичным высказыванием Оливера Уолтерса о доколониальной Юго-Восточной Азии, в котором он процитировал слова Пола Уитли: «Многие люди жили на отдаленных высокогорьях и были вне досягаемости городских центров, где сохранились записи.

Мандалы [судебные центры цивилизаций и власти] — феномен равнин, и даже здесь географические условия способствовали неуправляемости. Пол Уитли верно заметил, что „санскрит перестает звучать уже через 500 метров от них“»[42].

Исследователи Юго-Восточной Азии не перестают поражаться тому, сколь жесткие ограничения накладывает география, особенно высота над уровнем моря, на культурное и политическое влияние. Пол Мае, изучая Вьетнам и вторя Уитли, заметил по поводу распространения вьетнамского языка и культуры, что «это этническое приключение заканчивается у подножия горных хребтов страны»[43]. Оуэн Латтимор, широко известный прежде всего своими исследованиями северных границ Китая, также отметил, что индийская и китайская цивилизации, в соответствии с высказыванием Вроделя, хорошо перемещались по равнинам, но быстро выдыхались, как только сталкивались со скалистыми горами: «Подобная стратификация пространства характерна не только для Китая, она переходит его границы, проникая на полуостров Индокитай, в Таиланд и Бирму, — влияние великих древних цивилизаций распространяется безмерно далеко на низменностях, где возникают очаги сельского хозяйства и большие города, но заканчивается перед высотами»[44].

Хотя Вомиа исключительно разнообразна в лингвистическом плане, как правило, языки, на которых говорят в горах, явно отличаются от используемых в долинах. Структуры родства, по крайней мере формальные, также различны в горах и на равнинах. Отчасти это объясняет идея Эдмунда Лича, который охарактеризовал горные народы как наследующие «китайской модели», а равнинные общества — как последователей «индийской» или санскритской традиции[45].

Горные сообщества, как правило, во всем отличны от равнинных: первые склоняются к анимизму или, в XX веке, к христианству, но не к «великим традиционным» религиям спасения, которые исповедуют жители равнин (в частности буддизм или ислам). Даже если, что иногда случается, горные народы принимают «мировую религию» своих равнинных соседей, они делают это с той степенью нетрадиционности и таким миллениаристским пылом, которые скорее пугают, чем внушают доверие элитам равнинных государств. Горные жители производят излишки, но не используют их в интересах царей и монахов. Отсутствие крупных, устойчивых, поглощающих излишки производственной деятельности религиозных и политических структур обуславливает возникновение в горных районах социальной пирамиды, которая, в отличие от стратификационных моделей равнинных обществ, имеет мало уровней и локально детерминирована. Статусные различия и маркеры достатка весьма разнообразны и в горных, и в равнинных районах — различие в том, что во втором случае они имеют надлокальный и устойчивый характер, тогда как в горах они одновременно нестабильны и географически локализованы.

Эта характеристика, конечно, не раскрывает разнообразия политических практик в горных сообществах. Подобная вариативность ни в коем случае не является лишь функцией «этничности», хотя некоторые горные народности, например лаху, хму и акха, исключительно эгалитарны и децентрализованы. Однако повсеместно встречаются группы, на которые такое обобщение не распространяется. Окажем, среди народностей карен, качин, чин, хмонг, яо/мьен и ва встречаются как относительно иерархизированные подгруппы, так и децентрализованные, эгалитарные. Что удивительно и важно, так это то, что уровень иерархичности и степень централизации исторически изменчивы. Насколько я понимаю, вариативность существенно зависит от стремления имитировать процессы государственного строительства. Иными словами, либо речь идет о некотором кратковременном военном союзе, либо о каком-то типе «грабительского капитализма», основанном на захвате рабов и сборе дани с жителей равнин. Горные народы вполне могли выстраивать взаимовыгодные отношения с равнинными царствами, что совершенно не означало их политического поглощения или подчиненного положения, — они могли руководствоваться соображениями выгоды в случае контроля прибыльного торгового пути или охраны удобного выхода на ценные рынки. Политические структуры горных сообществ, за редчайшими исключениями, были имитационными в том смысле, что могли использовать внешнюю атрибутику и дискурс монархии, но не ее сущностные практики — налогообложение и прямой контроль за всем и вся, не говоря уже о постоянной армии. Горные государственные формы — это почти всегда редистрибутивные отношения с системой состязательных пиршеств, и поддерживаются они лишь из соображений доступной таким образом выгоды. Если иногда они и казались относительно централизованными, то, по мнению Варфилда, лишь потому что изображали «теневые империи» кочевых скотоводов, которые хищная периферия создавала, чтобы

монополизировать преимущества торговли и набегов на окраинах равнинных государств. Горные государственные формы обычно еще и паразитичны в том смысле, что разрушались сразу после того, как вскормившая их империя распадалась[46].

Зоны спасения от государства

Существуют убедительные доказательства того, что Вомия — зона не только сопротивления равнинным государствам, но и спасения от них[47]. Используя слово «спасение», я хочу сказать, что большая часть населения гор в течение более чем полутора тысяч лет перебиралась сюда, чтобы избежать многочисленных невзгод, связанных с проектами государственного строительства на равнинах. Горные народы отнюдь не «отстали» от прогрессивной поступи цивилизационного развития на равнинах, а в течение столетий сознательно выбирали для жизни территории, по определению недоступные государственному контролю. Жан Мишо отмечает в этой связи, что так называемый кочевой образ жизни в горах является «стратегией бегства и выживания», приводя в подтверждение беспрецедентное количество массовых восстаний во второй половине XIX века в центральных и юго-западных районах Китая, в результате которых миллионы беженцев устремились на юг, в отдаленные высокогорные регионы. Ему импонирует моя идея, что Вомию в исторической перспективе следует рассматривать как регион бегства от государств, прежде всего от Ханьской империи. Он полагает, что, «возможно, справедливо утверждение, будто по крайней мере часть горных жителей, перебравшихся на эти высокогорья из Китая за последние пять столетий, были вынуждены покинуть отчий дом в результате агрессии со стороны более мощных соседей, в первую очередь в результате Ханьской экспансии»[48].

Детальные и убедительные документальные подтверждения того, что Ханьская экспансия породила конфликты и миграционные потоки, исключительно многочисленны начиная с эпохи династии Мин (1368), не говоря уже о правлении императоров Цин. Конечно, самые ранние свидетельства редки и довольно сомнительны, особенно если учитывать удивительную подвижность этнических и политических наименований в те времена. Тем не менее общая ситуация была такова: по мере того как разрасталось китайское государство, народы, оказавшиеся под ударом экспансии, либо поглощались (становились ханьцами), либо были вынуждены бежать, нередко после неудачного восстания. Беглецы формировали, пусть и временные, сообщества, которые, по сути, «самомаргинализировались» посредством миграции[49]. Поскольку этот процесс повторялся снова и снова, культурно многосложные зоны бегства возникали уже внутри империй. По мнению Фискесье, «история безгосударственных народов в этом регионе» может быть описана как череда столкновений тех, кто длительное время проживал в горах (например, народа ва), с теми, кто искал здесь спасения: «Среди беглецов [от китайской государственной власти] мы видим множество представителей тибето-бирманских этнолингвистических групп (лаху, хани, акха и др.), а также говорящие на языках мяо и хмонгов другие народы... которые называют „горными племенами за пределами Китая“, „наследниками поражений“, в результате которых они в течение последних нескольких столетий перебирались в северные районы современных государств — Таиланда, Бирмы, Лаоса и Вьетнама, где многие из них до сих пор считаются вновь прибывшими»[50].

Здесь, в регионах, недоступных прямому государственному контролю, а потому защищенных в определенной степени от налогов, трудовых и воинских повинностей и отнюдь не редких эпидемий и неурожаев, связанных с высокой концентрацией населения и приверженностью монокультурам, подобные группы обретали относительную свободу. Здесь они развивали то, что я назвал бы сельским хозяйством беглецов, — те формы земледелия, что мешали их поглощению соседними государствами. Даже их социальную структуру можно вполне уверенно расценивать как способствующую избеганию государства, поскольку ее формат был призван помогать территориальному рассеянию и автономии, предотвращая возникновение любых форм политического подчинения.

Невероятная лингвистическая и этническая текучесть в горных районах — сама по себе важнейший социальный ресурс адаптации к изменчивым властным рокировкам, потому что она упрощает феноменально искусные трансформации идентичности. Жители Вомии, как правило, не только характеризуются лингвистической и этнической подвижностью и вариативностью, но и, в своей приверженности следовать харизматическим лидерам, способны на практически мгновенные социальные преобразования — в одночасье покинуть свои поля и дома, чтобы присоединиться к уже существующему сообществу или создать собственное по велению авторитетного проповедника. Их готовность без колебаний «перевернуть свою жизнь на 180 градусов» в конечном счете объясняется желанием избежать возникновения социальной структуры. Если рассуждать и дальше в этом ключе, пусть и с куда большей натяжкой, то ровно так же можно интерпретировать и неграмотность горных народов. Практически все они рассказывают легенды, согласно которым когда-то давно они имели письменность, но либо утратили ее, либо она была украдена. Учитывая значительные преимущества гибкой устной традиции перед письменными версиями истории и генеалогий, можно объяснить утрату грамотности и корпуса письменных текстов как более или менее целенаправленную адаптацию к безгосударственному состоянию.

Если суммировать мою аргументацию, то она такова: для адекватного понимания истории горных народов ее следует трактовать как историю не потомков архаических сообществ, а «беглецов» от процессов государственного строительства на равнинах — в длительной исторической перспективе мы фактически имеем дело с «высадившимися на необитаемом острове». Большая часть сельскохозяйственных и социальных практик горных жителей — способы извлечь из этого бегства максимальную выгоду, сохранив при этом все экономические преимущества поддержания отношений с равнинными государствами.

Территориальная концентрация граждан и производства в условиях низкой плотности населения, что характерно для Юго-Восточной Азии, требовала различных форм принуждения к труду. Все без исключения государства здесь были рабовладельческими, причем некоторые — вплоть до начала XX века. В доколониальный период войны в Юго-Восточной Азии были чаще обусловлены захватом не земель, но как можно большего числа пленников, которых перемещали в центральные районы государств-победителей. В этом смысле последние мало чем отличались от, скажем, Афин времен Перикла, где численность рабов в пять раз превышала количество граждан.

Результатом подобных проектов государственного строительства стало возникновение осколочных зон, или зон бегства, куда устремлялись все те, кто хотел спастись от закабаления. Эти зоны — не что иное, как прямой «эффект государства». А Зомия, в основном вследствие безмерных экспансионистских претензий молодой китайской империи, оказалась одной из самых больших и древних из подобных зон. Такие регионы — неизбежное следствие жестких проектов государственного строительства, а потому они есть на всех континентах. Ниже я рассмотрю некоторые из них в сравнительном контексте, а сейчас лишь перечислю несколько примеров, чтобы показать, насколько широко распространено это явление.

Поскольку испанская колонизация в Новом Свете основывалась на принуждении местного населения к труду, последнее, стремясь обрести свободу, было вынуждено бежать в труднодоступные районы — горные и засушливые[51]. Они характеризуются значительным лингвистическим и этническим разнообразием, а порой и упрощением социальной структуры и практик хозяйствования (переходом к скотоводству, подсечно-огневому земледелию) в целях повышения мобильности. Ровно то же самое случилось и во времена испанского правления на Филиппинах: горные районы северного Лусона были заселены в основном филиппинцами, которые бежали сюда с равнин от рабовладельческих рейдов малайцев и жестких мер подавления сопротивления местного населения испанцами[52]. После периода адаптации к экологическим условиям жизни в горах здесь начался процесс этногенеза, который привел к неверному восприятию горных народов как потомков переселенцев доисторических миграционных волн на остров.

Казачество, сформировавшееся на многих границах России, — еще один яркий пример описанных выше процессов. Изначально казаки — ни больше ни меньше как беглые крепостные со всех губерний европейской части России, которые оседали на пограничных территориях[53]. По критерию региона проживания сложились разные казачьи «войска»: донские казаки (в бассейне реки Дон), азовские (у Азовского моря) и т. д. В этих пограничных районах, копируя особенности верховой езды своих татарских соседей и деля общие пастбища, они превратились в «народ», который позже служил в российской, османской и польской кавалериях. История цыганских групп рома и синти в Европе в конце XVII века — еще один показательный пример[54]. Их, как и другие стигматизированные народы, приговаривали по суду к двум типам трудовой повинности: рабству на галерах в Средиземном море или же, на северо-востоке, службе в пехоте или военными носильщиками в княжестве Бранденбург-Пруссия. В результате цыгане сконцентрировались на узком клочке земли, в так называемом преступном коридоре, — единственной зоне спасения между этими двумя затягивающими и столь схожими смертельными опасностями.

Захваты в плен и закабаление, которые составляли суть первых процессов государственного строительства, породили зоны бегства и спасения, а рабство как трудовая система создало множество «зомий» — крупных и мелких. Можно очертить на карте ряд высокогорных районов Западной Африки, которые были относительно свободны в течение почти пяти долгих столетий рабовладельческих рейдов и торговли, затянувших в свои сети десятки миллионов рабов[55]. Численность населения этой зоны свободы постоянно росла, несмотря на сложные географические условия жизни и необходимость вводить всё новые хозяйственные практики. Многие из тех, кому не удалось спастись из лап работорговцев в

Африке, будучи перевезены в Новый Свет, быстро сбегали и создавали на отдаленных территориях поселения беглых рабов (маронов) везде, где существовало рабство. Известное высокогорное плато Кокпит на Ямайке, пальмовые леса (палмары) Бразилии, где возник Палмарис — фактически государство примерно двадцати тысяч беглых рабов, Суринам с самой большой численностью беглых рабов-маронов — лишь три показательных примера. Если бы мы включили в этот список и менее масштабные «убежища» на болотах, топях и в дельтах рек, то он бы многократно увеличился. Назовем лишь несколько из них: обширные болота в низинах Евфрата (осушенные в годы правления Саддама Хусейна) в течение двух тысяч лет служили прибежищем для спасающихся от государственного контроля. Ту же функцию, хотя и в меньших масштабах, выполняло легендарное Великое мрачное болото на границе Северной Каролины и Виргинии, Припятские болота в Польше, сегодня расположенные на белорусско-украинской границе, и Понтийские болота недалеко от Рима (в конце концов осушенные Муссолини) — все они известны как зоны спасения от государства. Описание подобных географических убежищ будет по крайней мере столь же длинным, как и перечень порождающих их типов подневольного труда.

Жители высокогорий Юго-Восточной Азии, несмотря на все свое бурное разнообразие, все же имеют несколько общих характеристик, принципиально отличающих их от равнинных соседей. История возникновения горных народов неразрывно связана с бегством, а потому по отношению к государству они представляют по крайней мере оппозицию, а иногда и силы активного сопротивления. Поскольку эти взаимоотношения, которые мы стремимся показать, имеют исторический и структурный характер, то совершенно бессмысленно ограничивать анализ исключительно рамками национальных государств. Большую часть того исторического периода, который нас интересует, их вообще не существовало, а когда они все же, пусть поздно, но возникли, многие горные народы продолжали вести свою кроссграничную жизнь, как будто ничего вокруг не изменилось. Понятие «Вомиа» — это попытка обозначить новый тип «пространственных» исследований, где выделение особого региона не имеет ничего общего с национальными границами (например Лаос) или стратегическими соображениями (Юго-Восточная Азия), а базируется на экологических закономерностях и структурных взаимоотношениях, которые легко преодолевают любые государственные границы. Если мы будем верны выбранному научному пути, то модель «исследований Вомиа» вдохновит других ученых идти по нему применительно к другим регионам и всячески его развивать.

Исторический симбиоз гор и равнин

Бессмысленно изолированно рассматривать формирование классических равнинных государств (мандал и современных), так как это грозит порождением заблуждений, ведь города всегда существовали в симбиотическом единстве с горными народами[56]. Говоря о симбиозе, я апеллирую к биологической метафоре более или менее близкого сосуществования двух организмов, в нашем случае — социальных, причем специфика симбиоза — антагонизм, паразитизм или даже «синергизм», взаимное обогащение — не оговаривается и не принципиальна.

Невозможно написать логически последовательную историю горных территорий без учета их постоянного взаимодействия с равнинными городскими центрами; впрочем, невозможно написать и логически последовательную историю городов без понимания их связи с горной периферией. В общем и целом большинство исследователей горных народов прекрасно осознают это диалектическое единство, наличие глубинных исторических предпосылок символического, экономического и человеческого обмена между двумя типами сообществ. К сожалению, нельзя сказать то же самое даже о самых выдающихся описаниях равнинных городских культур[57], и это неудивительно. Рассматривая их как самодостаточные образования (например, «тайскую цивилизацию» или «китайскую культуру»), историки воспроизводят совершенно ненаучную модель, по сути, пропагандируя выгодную государственным элитам герметичную трактовку культуры. Я полагаю, что горные и равнинные сообщества должны изучаться в симбиозе — иначе их история теряет смысл.

Писать историю равнинных городских центров без учета их взаимоотношений с горными народами — все равно что писать историю колониальной Новой Англии и Орегона на территории современных США, забывая о границах американских поселений; все равно что рассказывать о рабстве в Соединенных Штатах до гражданской войны, не упоминая об освобожденных рабах и Канаде как зоне потенциальной свободы. В каждом из перечисленных случаев внешние границы определяли, обозначали и нередко конституировали правила поведения внутри страны. Если же государственный центр забывал об этом, то не просто «упускал из виду» горные территории, но, по сути, игнорировал те приграничные условия жизни и обмена, которые служили гарантией самого его существования.

Постоянные перемещения между равнинами и горами, их причины, особенности и последствия — вот предмет моего рассмотрения. Ведь многие жители городов — «экс-горные», а жители гор — «экс-равнинные», причем смена местожительства в том или ином направлении не исключала возможности возврата. В одних обстоятельствах народы дистанцировались от государства, позже желали (или насильственно принуждались к этому!) стать гражданами данного или какого-то другого государства, чтобы через несколько столетий вновь выскользнуть из его лап — вследствие его распада или собственного бегства. Подобные территориально-статусные трансформации нередко влекли за собой изменения этнической идентификации в широком смысле этого слова. Я сторонник радикального «конструктивизма» в изучении «горных племен» материковой Юго-Восточной Азии. По крайней мере, при первом рассмотрении можно лучше понять особенности их жизни, если видеть в них беженцев, которые заселили горные пространства за последние полторы тысячи лет, покинув не только Бирму, Таиланд и Сиам, но прежде всего Ханьскую империю в период экспансионистской политики династий Тан, Юань, Мин и Цин, когда войска и поселенцы хлынули на юго-запад Китая. В горных районах поселенцы неоднократно могли менять местожительство, будучи вытеснены другими, более сильными группами беженцев, перед угрозой нового витка государственной экспансии или же в поисках новых земель и автономии. Вполне справедливо считать, что расположение и тип поселения, многие экономические и культурные практики в горах — не что иное, как «эффект государства». Такая версия истории радикально противоречит общепринятой, в соответствии с которой население гор — это потомки первобытных людей, оставленные здесь теми, кто спустился с гор и создал цивилизацию.

Аналогичным образом можно считать равнинные центры ирригационного выращивания риса «эффектом гор». Конечно, равнинные государства — относительно новые исторические образования, оформившиеся примерно в середине I тысячелетия н. э. как объединения возникших ранее сообществ очень разных людей, в том числе оседлых земледельцев, которые прежде никогда не были гражданами каких-либо государств[58]. Первые, самые ранние государства-мандалы были скорее не военными, а культурными центрами и привлекали тех, кто, независимо от своего происхождения, желал принять их религиозные, лингвистические и культурные практики[59]. Возможно, складываясь из осколков множества культур, равнинная идентичность стремилась всеми силами максимально социокультурно отделить себя от всех групп, оставшихся за пределами государства. Иными словами, если горные сообщества можно рассматривать как эффект государства, то культуры равнин — как эффект гор.

Большинство эпитетов, которые мы перевели бы как «грубый», «неотесанный», «варварский», а в случае китайского языка — как «некультурный», — используются для характеристики жителей гор и лесов. «Лесной житель» и «пещерный человек» — сегодня обозначения «нецивилизованности». Удивительно, насколько прочным и долговечным, несмотря на многовековые интенсивные миграции людей, товаров и культур через легко проницаемые границы гор и равнин, оказалось это культурное противопоставление в нашей повседневной жизни. Жители двух географических зон убеждены в своих сущностных различиях, хотя это представление противоречит многочисленным историческим фактам.

В чем же причина этого парадокса? Вероятно, первый шаг к его пониманию — осознание того факта, что взаимоотношения равнинных государств и горных народов не только симбиотичны, но и исторически синхронны и квазиконфликтны. Согласно как традиционной трактовке горных «племен», так и современному фольклору, в них видят реликты прежних стадий человеческой истории: какими мы были до того, как начали ирригационно выращивать рис, научились писать, развили искусства и приняли буддизм. «Именно так и никак иначе» — эта версия истории считает равнинные культуры более поздними, развитыми, цивилизованными, оставившими все дурное позади, в племенном строе, и это страшно искажает исторические факты. Равнинные и горные сообщества складывались одновременно и взаимосвязанно, дополняя и буквально следуя по пятам друг за другом. Жители гор всегда контактировали с городскими центрами первых равнинных царств напрямую или через прибрежные торговые пути; и жители городов всегда взаимодействовали с безгосударственной периферией: Делёз и Гваттари называли эти взаимосвязи «локальными действиями банд, маргиналов и меньшинств по защите прав разрозненных сообществ в противовес органам государственной власти», благодаря чему «непостижимым образом они оставались полностью свободными от государства»[60].

Ровно те же отношения складывались у государств с кочевниками, включая скотоводческие племена. Так, Пьер Кластр убедительно показал, что якобы примитивные индейцы Южной Америки — это не древние племена, которые не сумели изобрести оседлое земледелие и государственные формы жизни, а, скорее, бывшие крестьяне, отказавшиеся от оседлого земледелия и деревенского образа жизни после завоевания Америки: свою роль сыграли и демографический коллапс вследствие новых пандемий, и принудительный труд в колониях[61]. Миграции и жизненные практики индейцев помогали им держать государство

на расстоянии. В степях Центральной Азии древнейшие на планете кочевые племена, как показал Грязнов, тоже прежде занимались оседлым земледелием, но также отказались от него по политическим и демографическим причинам[62]. Латтимор пришел к тому же выводу: кочевое скотоводство возникло после оседлого земледелия — скотоводами становились оседлые земледельцы на границах пахотных земель, которые «отделялись от сельских сообществ»[63]. Государства и кочевые народы — это не некие последовательные стадии социальной эволюции, а близнецы, возникшие примерно в одно время и связанные тесными неустраняемыми узами, пусть и нередко жестокой вражды.

Сложный симбиоз сотрудничества и противостояния лежит в основе истории и антропологии Ближнего Востока. В Магрибе он принимает форму борьбы арабского и берберского населения. В своей известной книге «Святые в горах Атлас» Эрнест Геллнер показал динамику того, что я имею в виду: политическая автономия и племенной уклад берберов в горах Атлас — «не „догосударственный“ племенной строй, а политический и частичный отказ от конкретных форм управления, не исключающий принятия присущих берберским племенам культурных и этических норм»[64]. Приняв общеарабские культурные паттерны и мусульманство, эти племена категорически и последовательно отрицали лишь тип политического устройства арабских стран. Поэтому вплоть до недавнего времени, как утверждает Геллнер, историю Марокко можно было описывать как противостояние земель *malchazen* («обнесенных границами») и земель *siba* («за пределами границ»). *Siba* принято переводить как «институциональное диссидентство» (реже — «анархия»), хотя фактически слово обозначает «неуправляемость», зону политической автономии и независимости в противовес *malchazen* — «управляемости» и подчиненности государству. По Геллнеру, политическая независимость — всегда выбор, а не данность.

В отношении групп, сознательно покинувших города или оставшихся за пределами государственных границ, Геллнер использует выражение «маргинальный трайбализм», чтобы подчеркнуть их политически неопределенный статус:

“ Подобные племена знают о возможности... стать частью централизованного государства... Но они целенаправленно от нее отказываются и яростно ей сопротивляются. Таковы племена в горах Атласа. Вплоть до начала эпохи современных государств они были сознательными диссидентами... «Маргинальный» трайбализм... — это тип племенного строя, который сложился на, границах неплеменных сообществ по причине того, что последствия подчинения делают очень привлекательным избегание политической централизации и государственной власти, а горы и пустыни очень облегчают побег. Такой трайбализм расчетливо маргинален и четко понимает, от чего отказывается.

В Магрибе, как и в Вомии, водораздел между зонами, подконтрольными государству и маргинальными, автономными, имеет географический, экологический и политический

характер: очевидна «связь между высокогорьями, говорящими на берберском, и политическим диссидентством» в том смысле, что «узкие ущелья и горы — явный конец государственного контроля (*bled el-makhazen*) и начало диссидентства (*bled es-siba*)»[65].

Пример берберов показателен по двум причинам. Во-первых, Геллнер очень точно продемонстрировал, что демаркационная линия между арабским и берберским населением по сути своей не цивилизационная, не говоря уже о религиозной, а политическая, отделяющая граждан от неподконтрольных государству племен. Если предположить, и это делает Геллнер, что история знает многочисленные переходы через этот рубеж, то возникает вопрос, насколько политический статус этнически предопределен, то есть насколько он зависит от фундаментальных человеческих различий, а не является результатом сознательного выбора. Иными словами, те, кто по каким бы то ни было причинам стремился избежать «огосударствления», себя «трайбализировали» — этничность и родовой строй возникали там, где заканчивался суверенитет и налогообложение. Этническая периферия запугивалась и стигматизировалась официальной риторикой именно потому, что находилась вне зоны влияния государства и представляла собой пример успешного ему противостояния, столь притягательный для потенциальных политических беженцев.

Во-вторых, анализ берберо-арабских отношений, проведенный Геллнером, примечателен и как долгожданный иной взгляд, корректирующий официальную государственную версию — «взгляд с равнин» или «взгляд из городских центров» на «варварскую периферию» как осколок прошлого, который рано или поздно, по частям и с разной скоростью будет поглощен светом арабской цивилизации. В Юго-Восточной Азии и Магрибе данный взгляд исключительно популярен, поскольку в прошлом столетии неуправляемая периферия была постепенно поглощена современными национальными государствами. Но идея, что просвещенный центр, как магнит — железные опилки, притягивал и объединял периферийных людей, по крайней мере наполовину ошибочна: жизнь вне государства была одновременно и проще, и привлекательнее; исторические факты говорят об эволюционных колебаниях политического состояния, а не о линейном развитии. Конечно, избегание государства — тоже не истина в последней инстанции, а, скорее, факт, к сожалению, повсеместно не получающий должного освещения в доминирующем цивилизационном нарративе, несмотря на свое историческое значение.

Моя модель симбиоза и противостояния, политического выбора и его географической подоплеки позволяет, грубо говоря, понять исторические взаимоотношения горных народов и равнинных государств материковой Юго-Восточной Азии, где, как и в Магрибе, различия «государственности» и «безгосударственности» — очевидный социальный факт, явно выраженный в языковых практиках и массовом сознании. В различных культурных контекстах коннотации пар «просвещенный» — «первобытный», «культурный» — «дикий», «равнинные народы» — «горные народы» эквивалентны антонимам *makTiazan* и *siba*, то есть «управляемый» — «неуправляемый». Смысловая идентичность понятий «быть цивилизованным» и «быть гражданином» настолько не ставится под сомнение и воспринимается как сама собой разумеющаяся, что антонимичность понятий «граждане» и «самоуправляемые народы» прекрасно отражает ее суть.

Классические государства Юго-Восточной Азии, как и Ближнего Востока, были окружены относительно свободными сообществами — безгосударственными территориями и самоуправляемыми племенами, жившими не только в горных районах, но и на болотах, топях, в мангровых зарослях, лабиринтах и дельтах рек. Эти маргинальные группы были одновременно принципиально важным торговым партнером равнинных царств, убежищем от государственных институций и власти, зоной относительного равенства и интенсивной территориальной мобильности, поставщиком рабов и граждан для близлежащих государств и источником эконокультурной идентичности, практически зеркально отражавшей идентичность граждан равнинных царств. Итак, хотя мое внимание приковано к высокогорьям Вомии, я говорю в целом о взаимоотношениях без- и государственных регионов. Я фокусируюсь на Вомии, этом огромном межгосударственном пространстве, в силу ее важности как наиболее значимого в истории сложно устроенного горного приюта для беглецов от равнинных проектов государственного строительства. Ее жители приходили на эти земли или оставались тут, желая оказаться не достигаемыми для государств. Здесь географическое название *Юго-Восточная Азия*, обычно понимаемое как группа национальных государств в заданных географических координатах, не работает и затрудняет наше понимание происходящего. За два тысячелетия Вомию населили бесчисленные мигранты из пограничных с ней стран; многие из них были когда-то оседлыми земледельцами. Они бежали на запад и юг из Ханьской империи и иногда Тибета (тайцы, народности яо/мьен, хмонг/мяо, лаху, аха/хани), на север — из Таиланда и Бирмы по политическим, культурным и нередко военным причинам.

Поэтому нельзя считать, что в Вомии жили некие рассеянные горные племена — изучать местные народы следует как некую позиционную и относительную противоположность равнинных царств. Этническая дифференциация и идентичность горных народов не только значимо варьировали во времени, но и всегда отражали их коллективное отношение к государственной власти. Рискну предположить, что здесь никогда не было «племен» в полном смысле этого слова: жизненные и хозяйственные практики горных народов, выбор ими возделываемых культур — это своеобразные формы сдерживания или протеста против любых попыток их государственного поглощения. И наконец, как было показано выше, социальную структуру и паттерны проживания в горах следует рассматривать тоже как политический выбор против государства. Я убежден, что своеобразный эгалитаризм социальных структур в Юго-Восточной Азии — это аналог берберского принципа «разделяйся, чтобы не подчиняться»[66]. И это отнюдь не социологические или культурологические абстрактные схемы: реальные правила наследования, генеалогические ветви, локальные модели лидерства, структуры домохозяйств и, возможно, даже уровень грамотности проектировались целенаправленно, чтобы предотвратить (реже — способствовать) поглощению государством[67], хотя конкретные формы всего описанного можно квалифицировать по-разному и находить множество исключений. Моя задача — не формулировка провокационных вопросов, а выражение сомнения, порожденного историческими фактами, в связи с характеристикой относительно автономных горных племен как отсталых и нецивилизованных.

Модель анархической истории материковой Юго-Восточной Азии

Адекватное понимание логики жизни народов Юго-Восточной Азии на протяжении большей части их истории блокирует ее государственная версия — классическая, колониальная и национально-независимая, которая вполне оправдана в отношении последних пятидесяти лет, но грубо искажает суть более ранних периодов, причем чем дальше в историю, тем это искажение существеннее. Большая часть истории Юго-Восточной Азии прошла фактически без равнинных государств: они возникали очень ненадолго, сравнительно мало что контролировали на небольшом радиусе за пределами царских дворов и в целом не могли систематически пользоваться своими подданными как ресурсами (в том числе как рабочей силой). *Междоцарствия* не были редкостью и случались чаще, чем *периоды царств*: в доколониальную эпоху скопление крошечных княжеств позволяло населению легко менять местожительство и лояльность, исходя из соображений собственной выгоды; спокойно перемещаться в зоны, никому не подконтрольные или лежащие на пересечении интересов нескольких государств.

Когда бы и где бы ни возникали в материковой Юго-Восточной Азии государства, они постоянно меняли политический курс с заботы, необходимой для привлечения новых подданных, на закабаление — чтобы выжать из них максимум труда и урожая. Рабочая сила — вот ключ ко всему: даже если в основном доходы государства обеспечивала торговля, в конечном счете казна зависела от способности власти мобилизовать людские ресурсы для сохранения и защиты выгодных торговых путей[68]. Периодически государства вырождались в деспотии. Физическое бегство (фундамент народной свободы) стало основным способом проверки власти на прочность: как будет детально показано ниже, граждане, измотанные налоговыми, воинскими и трудовыми повинностями, сбегали в горы или близлежащие государства, а не устраивали восстания. Превратности войн и политического соперничества, неурожай и монаршие мании величия — все эти кризисные факторы процесса государственного строительства были непредсказуемы, но исторически неизбежны.

Прежде дискуссии об историческом развитии Юго-Восточной Азии фокусировались на вопросе, как писать историю государств, а то, что именно они должны быть в центре внимания, не ставилось под сомнение. Поэтому резкой критике подверглась работа Жоржа Оэдэса «Индианизированные государства Юго-Восточной Азии» — за то, что автор не упомянул о целесообразном и целенаправленном заимствовании и адаптации индийской космологии в городских центрах Юго-Восточной Азии[69]. К перекосам индоцентричных версий истории позже добавился колониальный европоцентризм, нарративы которого базировались на наблюдениях за местными сообществами с «палубы корабля, бастионов крепости, высоких галерей торговых рядов»[70]. Стала очевидна необходимость написания «автономной» истории Юго-Восточной Азии, свободной от обоих искажений. К сожалению, вплоть до недавнего времени практически все попытки создания таковой заканчивались публикацией пусть грамотных и оригинальных, но лишь хронологий развития *государств*.

Почему же так получается, что история государств настойчиво вытесняет историю *народов* [71] Этот вопрос заслуживает внимательного рассмотрения. Если кратко, то причину я вижу в том, что даже слабые и недолговечные первые классические государства, созданные по образцу индийских княжеств, были политическими структурами, которые оставили после себя огромное количество артефактов. То же самое можно сказать про первые сельские поселения, характерные для первых государств. Хотя аграрные поселения необязательно были структурно сложнее сообществ собирателей и подсечно-огневых земледельцев, но они были куда более плотно заселены, если речь идет о поливном рисоводстве, и в сотню раз более плотно, чем сообщества собирателей, а потому произвели куда большую массу обломков в виде артефактов, мусора, строительных материалов и археологических руин [72]. А чем больше оставленная вами куча камней, тем весомее ваша роль в истории! Более рассеянные, мобильные и эгалитарные народы, мало озабоченные собственной утонченностью и развитием торговых сетей, хотя зачастую и более многочисленные, относительно невидимы в истории и редко упоминаются просто потому, что разбросали свои артефакты на огромных пространствах [73].

То же самое можно сказать и о письменных свидетельствах: почти все, что мы знаем о первых государствах Юго-Восточной Азии, почерпнуто из наскальных надписей и более поздних летописных свидетельств — дарственных на землю, официальных хроник, судебных протоколов, реестров налоговых сборов, повинностей и церковных пожертвований [74]. Чем внушительнее оставленный вами текстовый шлейф, тем заметнее ваше место в истории. Но этот же письменный след умножает искажения. Традиционные обозначения истории в бирманском и тайском языках (*yazawin* и *phonesavadan*) переводятся соответственно как «жизнь правителей» и «хроники царей», поэтому по ним сложно реконструировать жизненные миры неэлитарных групп, даже живших при дворе. Они обычно упоминаются в документах прошлого лишь в виде статистических данных: столько-то работников, столько-то подлежащих воинской повинности, налогоплательщиков, мелких земледельцев, выращивающих рис, столько-то граждан, платящих подати. Они редко обретают статус исторических акторов — только в исключительных случаях радикального нарушения социального порядка, например когда речь идет о подавлении мятежа. Такое впечатление, что крестьяне прилагали все усилия, чтобы не попасть в исторические хроники.

Доминирующие нарративы, сфокусированные на дворцовой и городской истории, полны и иных искажений: они фактически навязывают нам повествования только о «государственных пространствах»; они исключают или игнорируют одновременной «безгосударственную периферию», и длительные периоды упадка династий и распада царств, когда вряд ли можно говорить о наличии государств. В правдивой, беспристрастной, тщательно описывающей события каждого года хронике жизни доколониальных государств материковой Юго-Восточной Азии почти все страницы окажутся пустыми. Неужели мы тоже притворимся, как придворные летописцы, что в отсутствие сильной династии история заканчивалась? Однако проблема пустых страниц — не единственная: официальная хроника дворцовых центров систематически преувеличивает масштабы власти, мудрости и величия династий [75]. Дошедшие до нас письменные источники — это в основном налоговые и земельные переписи, с одной стороны, и хвалебные гимны, присяги на верность, обоснования легитимности — с другой, причем последние принуждали к подчинению и

возвеличивали власть, а не фиксировали факты[76]. Если считать космологическое хвастовство королевских дворов правдивым изложением фактов, то мы рискуем, как заметил Ричард О'Коннор, «автоматически принять имперские грезы нескольких великих правителей за реальную жизнь целого региона»[77].

Суверенные государства Юго-Восточной Азии ответственны за новые исторические мистификации. Как этнические и географические наследники первых царств, они заинтересованы в преувеличении их славы, целостности и благодеяний. Более того, история классических государств была скорректирована и искажена, чтобы идентифицировать протонации и использовать протонационализм как оружие в борьбе с нынешними внешними и внутренними врагами. Так, древние артефакты, например барабаны Донгшона (огромные бронзовые культовые предметы, датируемые примерно V веком до н. э. — началом нашей эры, которые находят на всех высокогорьях Юго-Восточной Азии и на юге Китая), и местные восстания стали символом национально-освободительного движения и этнических достижений своего времени, хотя ни о чем подобном тогда никто не думал. В итоге мы получаем историческую сказку об исключительно древнем зарождении нации, которая старательно камуфлирует непоследовательность и случайные повороты истории и подвижность существовавших ранее идентичностей[78]. Подобные крайне нереалистичные версии истории, как нам напоминает Вальтер Веньямин, призваны убеждать в естественности прогресса и в необходимости существования государства вообще и национального — в частности[79].

Неадекватность письменных версий исторического процесса, производимых мандалами, династиями и столицами, настолько очевидна даже при скептическом к ним отношении, что они оказываются принципиально важны лишь как самоцентрированные описания и фиксация космологических претензий. Большая часть охватываемой ими хронологии, особенно в высокогорьях, прошла без государств и их «подобий»: если таковые и возникали, то как личные, крохотные и фрагментированные вотчины правителей, редко надолго переживавшие своих основателей. Их космология и идеология простирались существенно дальше, чем реальный политический контроль за производством зерна и человеческими ресурсами[80].

Здесь принципиально важно отличать «крепкую руку» государства от его же экономического и символического влияния, которое простиралось намного дальше. Доколониальные государства в изъятии урожая и рабочей силы у своих граждан могли рассчитывать на очень небольшую территорию в радиусе примерно 300 км вокруг царского двора, причем совершенно негарантированно и только в сухой сезон. С другой стороны, реальное экономическое влияние доколониальных царств было намного масштабнее, но зависело от добровольных обменов: чем выше была стоимость и меньше вес и размер товаров (сравните тончайший шелк и драгоценные камни с углем или зерном), тем большим экономическим потенциалом обладала власть. Символическое воздействие государства — регалии, титулы, внешний вид (костюмы), космология — простиралось намного дальше в форме идей, которые оказывали неизгладимое впечатление даже на самых мятежных жителей гор, участвовавших в восстаниях против равнинных царств. Если о сценарии жесткой силы амбициозные правители империй могли только мечтать, то влияние, которое они оказывали на перемещения населения, их торговые практики и мировоззрение, было

действительно велико.

Что получится, если вместо этих мечтаний предложить такую модель истории Юго-Восточной Азии, где длительные периоды нормативной и нормализованной безгосударственности будут изредка прерываться, как правило, короткими династическими правлениями, каждое из которых, растворяясь в истории, будет оставлять после себя новую порцию монарших мечтаний? Об этом говорит и Энтони Дей, критикуя чрезмерно фокусирующиеся на понятии и роли государства версии исторического процесса: «Какой бы была история Юго-Восточной Азии, если бы мы считали конфликтные взаимоотношения между родами не отклонением, а нормой абсолютистского государства, которое по определению должно „бороться с беспорядком“?»[81]

Компоненты политического порядка

Отказавшись от одностороннего взгляда на историю как процесс становления царств-государств, к чему нас призывают Дей, О'Коннор и с некоторыми оговорками Кит Тейлор, попробуем представить хронологию развития материковой Юго-Восточной Азии как формирование элементов политического порядка[82]. Я использую это словосочетание — «политический порядок», — чтобы у читателя не сложилось ошибочного впечатления, будто за пределами государств начиналось царство хаоса. В зависимости от географических и исторических условий здесь могли складываться различные элементы политического порядка — от нуклеарных семей до двупоколенных и патриархальных домохозяйств оседлых земледельцев, маленьких деревушек, крупных сел, городов с пригородами и их конфедераций. Последние представляют собой самый сложный уровень интеграции, который никогда не отличался стабильностью, поскольку предполагал объединение нескольких небольших городов на территории, удобной для ирригационного рисоводства и плотно населенной людьми, поддерживающими родственные связи с жителями прилегающих горных массивов. Альянсы подобных «рисовых архипелагов» не были редкостью, хотя и не отличались долговечностью — обычно их жителям не удавалось отстоять свободу самоопределения. Память о них живет в названиях поселений по всему региону: Оишуанбаньна («двенадцать рисовых деревень») в провинции Юньнань, Оипсонг Чутаи («двенадцать тайских правителей») вдоль вьетнамско-лаосской границы, Негри Оембилан («девять областей») на западе Малайзии и Ко Муо («девять городов») в округе Шан в Бирме. В этом смысле крупнейшими квазистабильными создателями государств в регионе были малайская народность негери/негара, тайская — муанг и бирманская — манг (§ 5:), которые концентрировали рабочую силу и запасы зерновых, проживая на удачно расположенных территориях — на пересечении важных торговых путей.

Вовлечение подобных потенциальных узлов силы в политические и военные альянсы было само по себе маленьким и обычно мимолетным чудом искусства государственного строительства. Они исключительно редко и очень ненадолго подчинялись центральной власти: как только политические выгоды подчинения исчерпывали себя, государства распадались на свои конститутивные элементы — крошечные царства, деревушки и даже домохозяйства. Новые агломерации могли возникнуть благодаря усилиям амбициозного политического лидера, но опять же лишь как временный альянс тех же элементов. Местные

царьки взирали на символический и идеологический формат государственного строительства без удивления и без малейших претензий на широкие властные полномочия. Государственная мимикрия, которую я называю космологическим бахвальством, была скопирована с первых китайских и индийских княжеств, когда рудиментарные модели власти до мельчайших деталей воспроизводились в самых крошечных сельских поселениях.

Крупные политические образования были крайне нестабильны; их строительные кирпичики также не отличались крепостью. Мы можем наблюдать их непрекращающуюся подвижность: они беспрестанно раскалывались, перемещались, сливались и возрождались. Домохозяйства и составляющие их деревни и индивиды тоже редко вели размеренную жизнь — селение могло сохраняться в течение, скажем, полувека, но люди уезжали и приезжали, их лингвистическая и этническая идентификация могла радикально измениться[83]. Демография играла в этих процессах главную роль: плотность населения в Юго-Восточной Азии составляла в 1600 году одну шестую индийских и одну седьмую китайских показателей. Открытость границ автоматически блокировала чрезмерные претензии государств — в случае эпидемий, голода, тяжелого бремени налогов, трудовых и воинских повинностей, межгрупповых конфликтов, религиозного раскола, бесчестья, скандала или просто желая изменить свою судьбу, домохозяйства и целые поселения легко снимались с места. Соответственно, членство в любом социальном образовании было очень подвижным, а его существование — нестабильным. Постоянством отличались только экологические и географические критерии предпочтительного места проживания: незасушливая долина с судоходной рекой или торговыми путями могла быть временно оставлена, но как только условия позволяли, она заселялась вновь. Такова типичная модель формирования государственных центров у народов негери, муанг и манг.

Претенденты на статус создателей государств могли рассчитывать лишь на этот очень неустойчивый строительный материал. Отсутствие амбициозного и сильного лидера или шаткость политической системы мгновенно приводили к тому, что на месте государства вдруг оказывались его «останки» — составлявшие его элементы политического порядка. Возможна ли в этой ситуации ясная и последовательная версия истории? Я убежден, что да, однако это не может быть история династий. Конститутивные элементы политического порядка имеют свою хронологию, обладают, пусть и грубой, но логикой формирования, соединения и распада, демонстрируют определенную степень автономии в отношении прежних династических и современных государств, то есть их история отличается от истории государств или царств. По сути, благодаря своей неустойчивости элементы политического порядка — относительно постоянные характеристики социального ландшафта, в отличие от редких и эфемерных исторически успешных империй. Случайный характер «государств» в истории заставляет нас воспринимать их не как некие политические единства, а как «сложные переплетения договорных отношений»[84]. Вот почему любая угроза распада государства, как отметил Акин Рабибхадана, рассуждая о Сиаме начала XIX века, заставляет «элементы системы разлетаться в разные стороны, чтобы спасти свою жизнь»[85].

Обнаружение закономерностей в бесконечном движении бесчисленных малых единиц кажется невыполнимой задачей: безусловно, это сложнее, чем писать историю династий, но я могу опереться на работы своих предшественников, пытавшихся понять аналогичные

социальные системы. Если мы говорим о Юго-Восточной Азии, то ее социальной структуре посвящено немало работ, авторы которых стремились уловить логику ее изменчивой истории. Самая известная и самая противоречивая из них — книга Эдмунда Лича «Политические системы высокогорной Бирмы». За ней последовали работы о высокогорьях, прежде всего Малайзии, которые характеризуются постоянными трансформациями крошечных государств, мобильностью населения, явным противостоянием жителей верховий и низовий рек, государств и периферии, что предоставляет богатую пищу для гипотез и размышлений. Помимо Юго-Восточной Азии, можно обратиться к исследованиям столкновений горожан и безгосударственных кочевников на Ближнем Востоке. Использование в качестве отправной точки анализа домохозяйств и трактовка поселений, племен и конфедераций как временных и шатких альянсов дали прекрасные результаты в книге Ричарда Уайта, посвященной народам района Великих озер в Северной Америке XVIII века[86]. И наконец, можно обратиться к труду Фукидида «История», где мир людей лишь частично управляем царями, где изменчивая лояльность и сомнительная надежность политических союзов — постоянный источник беспокойства всех основных противников: Афин, Спарты, Коринфа и Сиракуз, — каждый из которых, в свою очередь, представляет собой конфедерацию[87].

Главная проблема безгосударственной версии истории материковой Юго-Восточной Азии — обозначение условий, необходимых для объединения и распада элементов политического порядка. Эту проблему хорошо зафиксировал один из наблюдателей взаимоотношений государств и их автономных периферий: «Наступает момент, когда мы понимаем, что фактически имеем дело с молекулами, которые иногда образуют расплывчатые конфигурации, а иногда столь же легко разъединяются. Даже их названия не отличаются логичностью или определенностью»[88]. Подобная нестабильность молекул крайне неудобна антропологам и историкам — представьте, насколько это серьезная проблема для имперских функционеров, претендующих на звание царей, собирателей земель, колониальных властей и чиновников в современном мире. Правители государств считают почти невозможным установить эффективный политический контроль над людьми, которые все время находятся в движении, не имеют устойчивых моделей социальной организации и постоянного места жительства, чьи лидеры эфемерны, жизненные практики многосоставны и изменчивы, пристрастия малочисленны, лингвистическая и этническая идентичность подвижны.

Но в этом вся суть! Подобный формат экономической, политической и культурной организации — по большей части не что иное, как стратегия избегания инкорпорирования в государство, наиболее эффективно реализуемая в горных периферийных районах государственных систем, то есть в местах, подобных Вомии.

“Здесь [на Суматре] я сторонник деспотизма. Сильная рука, необходима для объединения людей, для превращения их в общество... Суматра в основном населена бесчисленными крошечными племенами, у которых нет общего правительства... Сейчас люди здесь столь же непоследовательны в своих привычках, как птицы в небесах, и пока они не будут собраны и организованы под чьей-то властью, с ними нельзя иметь дела[89].

В начале XIX века, что, впрочем, справедливо и для первых материковых государств, сэр Отэмфорд Раффлз, которого я процитировал, уверенно называл в качестве необходимого условия колониального правления концентрацию населения и оседлое сельское хозяйство, то есть постоянно проживающих на одном месте граждан, чей труд и товары государство может подсчитать и изъять. Рассмотрим теперь логику и динамику формирования государственных пространств в материковой Юго-Восточной Азии.

Версия #2

Зверобой создал 17 апреля 2025 22:28:30

Зверобой обновил 17 апреля 2025 22:38:38